

УДК: 821.161.1

ОТРАЖЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И
МЕНТАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ
А. С. ПУШКИНА (НА МАТЕРИАЛЕ «ПУТЕШЕСТВИЯ В
АРЗРУМ ВО ВРЕМЯ ПОХОДА 1829 ГОДА»)

Иванова Наталия Павловна,

*д. филол. н., профессор кафедры русской и зарубежной литературы
Таврической академии (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»;
e-mail: n-p-ivanova@yandex.ru*

В статье анализируются особенности художественной системы А. С. Пушкина, доказывается обусловленность её эволюции изменениями в ментальном пространстве автора, рассматриваются черты мировоззрения поэта, реализованные посредством экспликации ментальной оппозиции «ожидаемое–действительное» в картинах окружающего мира «Путешествия в Арзрум во время похода 1829 года».

***Ключевые слова:** литературный пейзаж, ментальное пространство автора, картина окружающего мира, романтизм, реализм, оппозиция «ожидаемое–действительное».*

Тезис о том, что пространство не обладает онтологическим статусом вне мышления, был выдвинут известным американским когнитивистом Дж. Лакоффом. Декларируя это, ученый находится в русле исследований, начатых его коллегой по Калифорнийскому университету Ж. Фоконье, который в 1985 году предложил термин, описывающий отражение реального мира в сознании воспринимающего субъекта, – «ментальное пространство», призванное не воспроизводить так называемую «объективную действительность», а воплощать образ того, что человек думает и говорит о тех или иных вещах. А значит, ментальные пространства по своей природе когнитивны и их рассмотрение позволяет вывести на качественно новый уровень анализ литературного пейзажа, являющегося одной из главных форм их экспликации.

Однако у Ж. Фоконье термин «ментальное пространство» использовался в широком понимании и был синонимичен понятию «внутренний мир человека». Применительно к анализу литературного пейзажа указанная категория может трактоваться как мировоззрение автора, выраженное посредством пространственных характеристик, реализованных в картинах окружающего мира.

Таким образом, пропущенные сквозь призму авторского мировосприятия и миропонимания пейзажные образы в одних исследованиях имеют названия фреймов ментальных пространств (Ж. Фоконье, М. - Тернер), в других – элементов картины мира (Ю. М. Караулов), в третьих – концептов (Н. Д. Арутюнова), в четвертых – мифологем (А. Ф.-Лосев). Как представляется, это явления одного порядка, результаты не столько портретирования, сколько, в терминологии Н. М. Тарабукина, «автопортретирования» природы, национального, культурного и индивидуально-авторского мифотворчества. Кроме того, это важные показатели направления развития художественной и ценностной системы писателя.

Исследователи пушкинской поэтики (Б. А. Грифцов, Б. С. Мейлах) прослеживают на примере кавказских пейзажей путь поэта от романтизма к реализму, относя к романтическим картины природы поэмы «Кавказский пленник» (1820–1821), а к реалистическим – пейзажи «Путешествия в Арзрум» (1830–1835). Безусловно, за 15 лет, прошедших с начала работы над первой из южных поэм до завершения «Путешествия...», произошла эволюция художественной системы А. С. Пушкина. Это сознавал и сам поэт, так как в «Путешествии...» он писал: «Здесь нашел я измаранный список «Кавказского пленника» и, признаюсь, перечел его с большим удовольствием. Все это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено верно» (II III, 380)*.

В качестве основных аргументов реалистичности прозаических описаний Кавказа литературоведы приводят отказ от изображения условно-литературного пейзажа и документальность картин кавказской природы. Так, В. Б. Шкловский называл «Путешествие в Арзрум» книгой, как будто бы написанной вне всякой литературной условности и считал сам выбор прозаической формы описания Кавказа свидетельством стремления поэта преодолеть традиционно романтическое восприятие этого края [8, 21]. А так как сам А. С. Пушкин утверждал, что «точность и краткость – вот первые достоинства прозы», то «в его прозаических произведениях описания природы встречаются редко и отличаются большой сжатостью, он словно избегает их, даже тогда, когда они сами собою просятся под перо» [1, 295]. По утверждению К. К. Арсеньева, «сдержанность, скромность таких эскизов соответствует общему тону пушкинской прозы, точно протестующей, своею величавою простотою, против изысканности и манерности тогдашних модных беллетристов» [1, 296].

Однако документальность и сдержанность описаний отнюдь не являются свидетельством отсутствия их экспрессивности. Б. С. Мейлах совершенно справедливо говорил о том, что «чертой новаторства Пушкина было открытие такого способа изображения жизни, когда все явления, каждая деталь проникнуты могучей энергией оценки, энергией притягивания или отрицания, отчетливо выраженного субъективного (но не

субъективистского) отношения автора» [7, 134]. Видимо, в данном случае следует говорить об ином способе создания экспрессивности. Оценка происходящего содержится, как правило, не в прямом описании чувств по поводу увиденного и не в комментариях, сопровождающих изображение окружающего мира, а в отборе деталей и их композиции. Очевидно, для понимания мотивов и принципов такого отбора необходимо сначала выяснить мотивы самой поездки А. С. Пушкина на Кавказ в 1829 году.

Как известно, впервые поэт увидел Кавказ и Крым во время Южной ссылки в 1820 году, когда приехал туда вместе с семьей Раевских. В письме брату от 24 сентября 1820 года он так описал свои чувства и впечатления: «Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался – счастливое полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображение – горы, сады, море; друг мой, любимая моя надежда увидеть опять полуденный берег...» [6, 59]. Видимо, с годами отношение поэта к этому «прелестному краю» не изменилось, потому что в период другой – Михайловской – ссылки в 1825 году, вспоминая своих друзей в очередную лицейскую годовщину и обращаясь к В. К. Кюхельбекеру в стихотворении «19 октября», А. С. Пушкин писал:

*Приди; огнем волшебного рассказа
Сердечные преданья оживи;
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви (П III, 81).*

Таким образом, романтическое восприятие этого края сохраняется, коль скоро Кавказ упоминается рядом с именем Шиллера и такими традиционно романтическими пространственными и ценностными ориентирами, как буря, слава, любовь. Видимо, именно это восприятие заставляет поэта в наполненном «трагическими противоречиями» 1829 году без высочайшего разрешения, «сломя голову», как пишет Ю. М. Лотман, ехать на Кавказ. Сам А. С. Пушкин так объяснил эту свою поездку:

*Желал я душу освежить,
Бывалою жизнью пожить
В забвеньи сладком близ друзей
Минувшей юности моей...
Искал не злата, не честей
В пыли средь копий и мечей (П III, 188).*

Что искал? Видимо, ту самую «свободную, беспечную жизнь». Воспринимая Кавказ как мир, живущий по иным законам («...душевных наших мук / Не стоит мир; оставим заблужденья!») – призывал Пушкин Кюхельбекера перед упоминанием о Кавказе), желая вернуться в мировосприятие 1820 года, поэт, по воспоминаниям декабриста А. С. Гангеблова, «во время пребывания в отряде <...> избегал новых встреч и сходил только с прежними своими знакомыми, при посторонних же всегда был молчалив и казался задумчивым» [6, 156].

Итак, возможно, мы понимаем, почему Пушкин поехал на Кавказ в 1829 году. Но теперь другой, не менее важный, вопрос: нашел ли он то, что искал?

И в этом смысле пушкинская документальность наполнена экспрессивностью, которую, пользуясь термином Р. О. Якобсона, можно назвать экспрессивностью «обманутого ожидания», но по отношению к самому поэту, а не к читателю. Такой вывод можно сделать на основе анализа авторского ментального пространства (термин Ж. Фоконье) – так в проводимом исследовании обозначается мировоззрение автора, выраженное посредством пространственных характеристик. Следует отметить, что, являясь образцом документальной прозы, «Путешествие в Арзрум» как нельзя более точно отражает ментальное пространство автора, в котором возникает, казалось бы, традиционная для романтического мироощущения оппозиция «ожидаемое–действительное». Но своеобразие ее в том, что ожидания романтические, а действительность видится и описывается глазами преимущественно реалиста.

Еще только подъезжая к Кавказу, А. С. Пушкин хотел убедиться в том, что все осталось по-прежнему: «В Ставрополе увидел я на краю неба облака, поразившие мои взоры ровно за девять лет. Они были все те же, все на том же месте. Это – снежные вершины Кавказской цепи» (II III, 447). Да, кавказские горы на прежнем месте, но и только. Уже в Горячих водах поэт «нашел большую перемену», и это заставляет его начать сравнивать Кавказ 1829 года с Кавказом 1820 года, в самом начале «Путешествия...» сказав о 1829 годе «в мое время». Он ждал, что вернется в то, свое, время, когда «черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки» (II III, 447). Но теперь все иначе: «Бульвар, обсаженный липками, проведен по склону Машука. Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, правильные цветники, мостики, павильоны» (II III, 447), – как несвойственны пушкинским картинам природы эти уменьшительно-ласкательные суффиксы, поэтому и звучат они с какой-то грустной иронией разочарованного в своих романтических ожиданиях человека. Но это далеко не все. Если раньше «источники, большею частью в первобытном своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям», то сейчас «ключи обделаны, выложены камнем». Былая вольность скована, и вот главное доказательство этого: «на стенах ванн прибиты предписания от по-

лиции». Это даже по-своему комично, и поэтому с явной иронией звучит итог этого описания: «везде порядок, чистота, красивость» (П V, 447). А далее следует признание А. С. Пушкина, подтверждающее и усиливающее подтекст пейзажа: «Признаюсь: Кавказские воды представляют ныне более удобностей; но мне было жаль их прежнего дикого состояния; мне было жаль крутых каменных тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, над которыми, бывало, я карабкался. С грустью оставил я воды и отправился обратно в Георгиевск» (курсив – Н. И.) (П V, 447). Время свободно текущих ключей и неогороженных пропастей прошло, и окружающие Бешту горы воспринимаются путником как его вассалы.

Однако изменился не только окружающий мир, но и люди. А. С. - Пушкин описывает крепости «со рвом, который каждый из нас перепрыгнул бы в старину не разбегаясь» (П V, 448). И это неизбежное для каждого человека невеселое наблюдение сопровождается описанием старых крепостей «с заржавыми пушками, с обрушенным валом, по которому бродит гарнизон куриц и гусей» (П V, 448). Следовательно, в пушкинском ментальном пространстве увеличивается дистанция между «его временем» и нынешним посещением Кавказа: теперь 1820 год назван уже стариной, а ведь прошло не так уж много времени – 9 лет. Видимо, изменения, произошедшие с окружающим миром и людьми, заставляют чувствовать этот временной разрыв как весьма значительный.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основным средством создания экспрессивности картин окружающего мира «Путешествия в Арзрум» является контраст. И следующее тому подтверждение – описание крепости Минарет – «первого замечательного места» на Военно-Грузинской дороге: «Приближаясь к ней, наш караван ехал по прелестной долине, между курганами, обросшими липой и чинаром. Это могилы нескольких тысяч умерших чумою. Пестрелись цветы, порожденные зараженным пеплом. Справа сиял снежный Кавказ...» (П V, 448). Здесь эксплицирована излюбленная романтиками идея о вечности природы и бренности всего земного, поэтому мы не только встречаем «следы разоренного аула», но и видим, что «легкий одинокий минарет свидетельствует о бытии исчезнувшего селения». Этот минарет возвышается «на берегу иссохшего потока» (П V, 448). «Бывший некогда главным в Большой Кабарде аул» Татартуб неуклонно движется по пути умирания: с одной стороны, «внутренняя лестница еще не обрушилась», с другой – с площадки минарета «уже не раздается голос муллы».

Вспомним об ассоциировании Кавказа со славой в 1825 году. Теперь А. С. Пушкин пишет, что на развалинах минарета нашел «несколько неизвестных имен, нацарапанных на кирпичах *славолюбивыми* путешественниками» (курсив – Н. И.) (П V, 448). Здесь вновь грусть и ирония: видимо, в его время славу понимали несколько иначе.

Вероятно, феномен «обманутого ожидания» привел к тому, что в авторском ментальном пространстве Кавказ воспринимается уже под другим углом зрения: А. С. Пушкин склонен предполагать худшее. К примеру, видя в горах пастуха на расстоянии, когда «чуть видные стада кажутся насекомыми», он предполагает в нем «быть может, русского, некогда взятого в плен и состарившегося в неволе» (П V, 450). В его ментальном пространстве Кавказ уже вовсе не «пристанище романтического духа». Напротив, теперь поэт опровергает романтические легенды, связанные с географическими названиями Кавказа, и делает это достаточно резко, называя их сказками: «Против Дариала на крутой скале видны развалины крепости. Предание гласит, что в ней скрывалась *какая-то* царица Дария, давшая имя всему ущелию: сказка. Дариал на древнем персидском языке значит ворота. По свидетельству Плиния, Кавказские ворота, ошибочно называемые Каспийскими, находились здесь. Ущелие замкнуто было настоящими воротами, деревянными, окованными железом» (курсив – Н. И.) (П V, 451–452). Окованные железом ворота вместо сказочной царицы, прямой смысл слова «ворота» вместо метафоры. Или еще: «Недалеко от селения Казбек пересехали мы через Бешеную балку, овраг, во время сильных дождей превращающийся в яростный поток. Он в это время был совершенно сух и громок одним своим именем» (П V, 452). В. В. Виноградов назвал это толкование разрушением их ложноромантической этимологии [3, 8].

Но феномен «обманутого ожидания» накладывает отпечаток не только на нынешнее (1829 года) восприятие Кавказа: «Скоро притупляются впечатления. Едва прошли сутки, и уже рев Терека и его безобразные водопады, уже утесы и пропасти *не привлекали моего внимания*» (курсив – Н. И.) (П V, 452). Происходит гораздо более грустное событие: слишком тяжело разочарование, и А. С. Пушкин, возможно, невольно обесценивает и сами впечатления 1820 года, приведшие его на юг, «корректируя» собственное ментальное пространство: «Я столь же равнодушно ехал мимо Казбека, как некогда плыл мимо Чатырдага» (П V, 452). А как же «преlestный край; природа, удовлетворяющая воображение»? А как же элегия, написанная ночью на корабле у берегов Гурзуфа? Все это от равнодушия? Видимо, нет. Скорее всего, таким образом поэт, возможно, неосознанно хочет преодолеть оппозицию «ожидаемое–действительное» и не считать ожидания обманутыми.

Итак, пушкинские документальность, точность и экономность описаний природы вовсе не исключают их экспрессивности. Это реалистические описания, но их нельзя рассматривать вне контекста жизненного и творческого пути А. С. Пушкина. Кроме того, по наблюдению В. Б. Шкловского, речь идет о новом приеме раскрытия предмета описания – исследовании предмета посредством чередования его восприятий [8]. И на примере изображений Кавказа в пушкинских произведе-

ниях мы видим это особенно ярко: отказ от романтизма не произошел в художественной системе поэта мгновенно и безболезненно, он явился закономерным следствием изменения его ментального пространства, и оппозиция «ожидаемое–действительное» в изображении Кавказа дает нам возможность убедиться в этом. Желание «душу освежить» не осуществилось при встрече с «мрачной прелестью природы» этого края. Но Арзрум еще далеко, и поэтому надежда на осуществление этого желания еще живет: да, Кавказ обманул ожидания поэта, но впереди Грузия, и возникают новые ожидания: «Мгновенный переход от *грозного* Кавказа к *миловидной* Грузии восхитителен. Светлые долины, орошаемые веселой Арагвою, сменили мрачные ущелья и грозный Терек. Вместо голых утесов я видел около себя зеленые горы и плодоносные деревья» (курсив – *Н. И.*) (II V, 454). Налицо контраст отрицательных эмоций, связанных с Кавказом, и положительного восприятия Грузии. Даже водопроводы не разрушают этой гармонии, а лишь «доказывают присутствие образованности».

Однако оппозиция «ожидаемое–действительное», обусловившая пушкинское восприятие Кавказа, определяет и отношение поэта к Грузии, и, соответственно, грузинские пейзажи. Не дождавшись лошадей, поэт идет пешком в Душет. Дорога оказывается дольше и труднее, чем он предполагал: «...местами грязь, образуемая источниками, доходила мне до колена. Я совершенно утомился. Темнота увеличивалась» (II V, 455). Попавший в столь затруднительную ситуацию утомившийся путник «слышал вой собак и *радовался, воображая*, что город недалеко. Но... ошибался: лаяли собаки грузинских пастухов, а выли шакалы, звери в той стороне обыкновенные» (курсив – *Н. И.*) (II V, 455). Наконец цель достигнута, однако первый встречный требует за указание пути к городничему абаз (деньги), проявив при этом, по словам поэта, «корыстолюбие, оскорбительное для грузинского гостеприимства», а сам городничий отказывается выделить комнату без предъявления подорожной. В конце концов, измученный путник получил комнату: «Я *броился* на диван, *надеясь* после моего подвига заснуть богатырским сном: *не тут-то было!* блохи, которые гораздо опаснее шакалов, напали на меня и во всю ночь не давали мне покою» (курсив – *Н. И.*) (II V, 455).

Таким образом, описания Грузии также эксплицируют ментальную оппозицию «ожидаемое–действительное», неся на себе отпечаток традиционного романтического несоответствия мира мечты и надежды миру реальности. Однако, как представляется, поэтика романтизма переплетается в данном случае с поэтикой реализма, ведь для усиления этого романтического контрастирования используются более чем реалистические детали: грязь до колен, деньги за гостеприимство, наконец, «блохи, которые гораздо хуже шакалов». В этом смысле справедливым представляется мнение К. Н. Григорьяна, писавшего о взаимообогат-

щении романтизма и реализма, и в «Путешествии в Арзрум» рядом с подробнейшим описанием тифлиских бань, сделанном едва ли не в духе натуральной школы, встречаем цитаты из Т. Мура и грузинского поэта Д. Туманишвили. Кстати, стихотворение последнего под названием «Весенняя песня» А. С. Пушкин приводит полностью, признавая, что в ней наряду с «какой-то восточной бессмыслицей» есть «свое поэтическое достоинство». А между тем, с точки зрения поэтики, это в высшей степени романтическое произведение. Вот его образы: «душа, недавно рожденная в раю», «весна цветущая», «луна двунедельная», «ангел мой хранитель», «горная роза, освеженная росой», «потопанное сокровище». В этом стихотворении четыре строфы, каждая из которых заканчивается эпифорой – обращением к этим образам: «От тебя ожидаю жизни» (П V, 457–458). Как похоже это на пушкинское «желал я душу освежить», приведшее поэта на Кавказ в 1829 году!

Однако эти ожидания оказываются заблуждением и в Грузии: поэт видит выжженный солнцем край, в котором даже горы не являются украшением, а лишь «кипятят воздух», и мы встречаем реализацию все той же оппозиции «ожидаемое–действительное» при описании природы: «Вокруг меня земля была опалена зноем. Грузинские деревни издали казались мне прекрасными садами, но, подъезжая к ним, видел я несколько бедных сакель, осененных пыльными тополями. Солнце село, но воздух все еще был душен...» (курсив – Н. И.) (П V, 459). Поэт въезжал в «миловидную», а покидает «опаленную» Грузию. Но теперь он спускается «к свежим равнинам Армении»: «С неописанным удовольствием заметил я, что зной вокруг уменьшился: климат был другой» (курсив – Н. И.) (П V, 460).

И коль скоро есть надежда, что Армения не обманет ожиданий путешественника, описание природы этого края содержит общее впечатление от картины – весьма часто встречающийся прием романтической поэтики: «Я ехал среди плодоносных нив и цветущих лугов. Жатва струилась, ожидая серпа. Я любовался прекрасной землею, коей плодородие вошло на Востоке в пословицу» (курсив – Н. И.) (П V, 462). Тем не менее, оппозиция «ожидаемое–действительное» эксплицирована и при описании Армении: «Небо покрыто было тучами, я надеялся, что ветер, который час от часу усиливался, их разгонит. Но дождь стал накрапывать и шел все крупнее и чаще...» (курсив – Н. И.) (П V, 462).

Между тем, возможны и приятные сюрпризы. Промокший под дождем и высушенный ветром путник «не думал избежать горячки», однако наутро «не было следа не только болезни, но и усталости». Все детали пейзажа способствуют созданию атмосферы обновления и радости: и «свежий утренний воздух», и восходящее солнце, и «ясное небо», и белеющая на его фоне «снеговая, двуглавая гора». И вот объяснение произошедшего чуда: эта гора оказывается Арааратом. «Как сильно дей-

стве звуков!» – восклицает поэт. И если «что за гора?» он «спросил потягиваясь», то, услышав ответ, «жадно глядел на библейскую гору». Действительно, кроме ощущения торжественности соприкосновения с ветхозаветным преданием, поэт, видимо, испытывает радость и внутренний подъем оттого, что страницы Библии, повествующие о Ное, пробуждают в человеке те же надежды, о которых пелось в грузинской песне и о которых писал сам Пушкин перед поездкой на Кавказ: «Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления жизни, – и врана и голубицу излетающих, символы казни и примирения...» (курсив – Н. И.) (II V, 463). Эти написанные высоким стилем слова весьма созвучны уже неоднократно повторенному пушкинскому «желал я душу освежить» и песенному «ожидая жизни».

Преодоление оппозиции «ожидаемое–действительное» неизбежно влечет за собой соответствующие изменения в ментальном пространстве и их экспликацию в природоописании, также написанном высоким слогом, содержащем общее настроение картины и наполненное сверкающими красками – традиционным элементом романтической поэтики: «Утро было прекрасное. Солнце сияло. Мы ехали по широкому лугу, по густой зеленой траве, орошенной росой и каплями вчерашнего дождя. Перед нами блистала речка...» (курсив – Н. И.) (II V, 463). Сияющее солнце, отражающееся в каплях росы и дождя, блистающая река... Видимо, прав был Г. А. Гуковский, когда писал о том, что Пушкин не откажется от добытого его учителями-романтиками понимания полисемантизма [5, 107]. Действительно, сверкание – это не только ощущение цвета или освещения, это традиционное для романтиков желание внести в описываемые картины нечто необыкновенное, особую красоту, сильные чувства. И эта функция была заложена в сверкании изначально. А. И. Белецкий писал, что во многих языках понятие «шуметь, кричать, звучать» и «блестеть, сверкать, глядеть» до сих пор связаны [2, 88].

Интересно, что по силе воздействия на пушкинское ментальное пространство сопоставимой с Араратом оказалась... граница России. Видимо, ее пересечение связывалось в нем с преодолением ощущения несвободы: «Арпачай! наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное» (II V, 463). Интересно, что желание достичь ожидаемого путем смены пространства заставляет с легкостью преодолеть оппозицию «свое– чужое», в результате чего чужое пространство не настораживает и не пугает, а лишь вызывает интерес и надежду. Однако и здесь от оппозиции «ожидаемое–действительное» не уйти: «Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег уже завоеван: я все еще находился в России» (курсив – Н. И.) (II V, 463).

Вскоре после описания несостоявшегося перехода через границу появляется изображение могилы пастуха, «умершего пустынным» (отшельником), и растущих у могилы двух «пустынных сосен», то есть возникает, на первый взгляд, романтический мотив уединения, бегства или изгнания. И в этом же ключе описана встреча поэта с дервишем, братом которого называет А. С. Пушкина паша, приветствуя его такими словами: «Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных; и между тем как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли и ему поклоняются». «Восточное приветствие паша нам очень любилось», – пишет А. С. Пушкин. И действительно, перед нами романтическое восприятие образа странствующего поэта, с легкостью преодолевающего оппозицию «свое–чужое». И вскоре поэт встретил, как он сам пишет, «своего брата», «полунагого, в бараньей шапке, с дубиною в руке... Он кричал во все горло... Его насилиу отогнали» (П V, 476), – очень лаконичное и абсолютно далекое от романтики описание, отражающее ментальное пространство самого автора. Возвращение от ожидаемого к реальности, в которой не удастся преодолеть несвободу, влечет за собой появление черт реалистической поэтики. Соответственно описывает А. С. Пушкин и свое «общение» с местным населением: «Когда гулял я по городу, турки подзывали меня и показывали мне язык. (Они принимают всякого франка за лекаря.) Это мне надоело, я готов был отвечать тем же» (П V, 479).

В связи с этим совершенно закономерен тот факт, что и описания самого Арзрума во многом подчинены оппозиции «ожидаемое–действительное»: 1) «Арзрум почитается главным городом в Азиатской Турции. В нем считалось до 100 000 тысяч жителей, *но*, кажется, число сие слишком увеличено» (курсив – Н. И.) (П V, 477); 2) «один путешественник пишет, что из всех азиатских городов в одном Арзруме нашел он башенные часы, *и те* были испорчены» (курсив – Н. И.) (П V, 478); 3) «главная сухопутная торговля между Европою и Востоком производится через Арзрум. *Но* товаров в нем продается мало... в Арзруме больной может умереть за невозможности достать ложку ревеня, *между тем как* целые мешки оного находятся в городе» (курсив – Н. И.) (П V, 478); 4) *в знаменитом восточном гареме* «нас повели через сад, где били два тощие фонтана» (курсив – Н. И.) (П V, 480). А. С. Пушкину случайно удалось увидеть лица жителяниц этого гарема – и здесь разочарование: «Все они были приятны лицом, *но* не было ни одной красавицы» (курсив – Н. И.) (П V, 480). Однако окончательно смириться с непреодолимостью оппозиции «ожидаемое–действительное» автору, вероятно, все-таки не хочется, потому что о единственной женщине, чьего лица невозможно было увидеть, он пишет: «...та была, вероятно, повелительницею харема, сокровищницею сердец – розою любви», – но в этом путешествии ожидания так часто

бывали обмануты, что А. С. Пушкин сам добавляет: «...по крайней мере, я так воображал» (II V, 481). Как представляется, с иронией осознает он и сам факт посещения гарема как романтическое клише в традиционном европейском восприятии: «Таким образом, видел я харем: это удалось редкому европейцу. Вот вам основание для восточного романа» (II V, 481).

Интересно в связи с этим и сознательное разрушение романтических стереотипов восприятия этого края: «Не знаю выражения, которое было бы бессмысленнее слов: азиатская роскошь... Ныне можно сказать: азиатская бедность, азиатское свинство и проч., но роскошь есть, конечно, принадлежность Европы. В Арзруме ни за какие деньги нельзя купить того, что вы найдете в мелочной лавке первого уездного городка Псковской губернии» (II V, 477).

Тем не менее, в доказательство существования соперничества между Арзрумом и Константинополем поэт приводит начало романтической поэмы, сочиненной якобы янычаром Амином-Оглу, но это вымышленное лицо. В действительности стихотворение принадлежит самому А. С. Пушкину. Оно тоже построено по принципу контраста, но контраста несколько иного рода: Арзрум противопоставлен Стамбулу. Критерии противопоставления основаны на традиционной мусульманской системе ценностей: следование учению пророка (при этом существует также противопоставление «древнего Востока» «лукавому Западу»), битва как проявление героизма, неприятие вина, верность и покорность жен в гаремах. И если Стамбул «отрекся от пророка», «отвык от поту битвы», в нем «мужчин в гаремы вводят», то жители Арзрума с гордостью заявляют о себе: «постимся мы», «джигиты наши в бой летят», «харемы наши недоступны» (II V, 478–479). Такого рода антитеза как прием романтической поэтики является скорее данью жанру путешествий, стилизацией, чем органичной частью произведения, – недаром поэт приписывает ее янычару. Тем не менее, она также дает возможность говорить о сосуществовании традиций романтической и реалистической поэтики в «Путешествии в Арзрум».

Зато вполне в духе поэтики контраста описано возвращение А. С. Пушкина в Россию. Кроме того, что Кавказ оказался не соответствующим ожиданиям, по отношению к нему все-таки не преодолена оппозиция «свое–чужое»: «звезды чуждые» (II V, 458); «дорого бы я дал за кусок русского черного хлеба» (II V, 460); «я спешил в Россию» (II V, 482). И сначала обратная дорога воспринимается вполне положительно: «возвышенные равнины холодной Армении», «знойная Грузия». В описаниях природы вновь появляются черты романтической поэтики и следующие когнитивно-пространственные сочетания: «...чуждое зрелище: белые, оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками» (II V, 450). Здесь и общее впе-

чатление от картины, и соединение гор и неба, и мотив уединения, и световые и зрительные эффекты. Здесь и оправдание романтического названия Бешеной Балки: теперь этот овраг «превосходил в своей свирепости сам Терек, тут же грозно ревевший» (II V, 452). Во Владикавказе поэт встречает Пущина, и у него на столе находит русские журналы: «Первая статья, мне попавшаяся, была разбор одного из моих сочинений. В ней всячески бранили меня и мои стихи» (II V, 483). И поэтому с оттенком иронии звучит финальная фраза «Путешествия в Арзрум»: «Таково было мне первое приветствие в любезном отечестве» (II V, 483). Таким образом, оппозиция «ожидаемое–действительное» теперь уже окончательно остается непреодоленной.

Итак, анализ экспликации ментальной оппозиции «ожидаемое–действительное» в пушкинских картинах окружающего мира, описанных в «Путешествии в Арзрум», позволяет сделать вывод о невозможности абсолютного разграничения романтического и реалистического периодов художественной системы А. С. Пушкина. Черты романтической и реалистической поэтики соединяются в его картинах окружающего мира. Смена одних другими не обусловлена временными рамками или переходом от поэзии к прозе. Она происходит в зависимости от особенностей ментального пространства поэта. При появлении черт реализма в пушкинском творчестве достижения романтической поэтики не были отвергнуты, а были лишь переосмыслены и заняли свое полноправное место в художественной системе поэта.

Примечания

* Пушкин А.С. Полн. собр. соч. В 10 т. Л.: Наука, 1997. Здесь и далее ссылки на Полное собрание сочинений А. С. Пушкина приводятся в тексте статьи в круглых скобках с употреблением сокращения *П.* и указанием номера тома и страницы.

Список использованных источников

1. Арсеньев К.К. Пейзаж в современном русском романе // Критические этюды по русской литературе. СПб, 1888. Т. 2. С. 294–336.
2. Белецкий А.И. Вопросы теории и психологии творчества. Харьков., 1923. 282 с.
3. Виноградов В.В. О художественной речи Пушкина // Русский язык в школе. 1967. № 3. С. 25–30.
4. Грифцов Б.А. Пушкинский пейзаж // Психология писателя. М., 1988. С. 213–233.
5. Гуковский Г.А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М.: Гослитиздат, 1957. 327 с.
6. Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин. Л.: Просвещение, 1983. 255 с.

7. Мейлах Б.С. Творчество А.С. Пушкина. Развитие художественной системы. М.: Просвещение, 1984. 160 с.
8. Шкловский В.Б. Повести о прозе. В 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1983. 636 с.
9. Якобсон Р.О. Работы по поэтике. М., 1987. 464 с.
10. Fauconnier G. Mental spaces. Cambridge, MIT Press, 1985. 190 p.

THE REFLECTION OF THE RELATIONSHIP OF ART
AND MENTAL EVOLUTION IN WORKS OF A.S. PUSHKIN
(BASED ON THE «JOURNEY TO ARZRUM DURING THE
CAMPAIGN OF 1829»)

Ivanova Natalya Pavlovna,

*Doctor of Philology, Professor
of Crimea Federal V.I. Vernadsky University
(Simferopol, Crimea Republic, Russia),
e-mail: n-p-ivanova@yandex.ru*

The article analyzes the peculiarities of the artistic system of A. S. Pushkin, it is proved that its the evolution of changes in the mental space of the author; examine the features of the worldview of the poet, implemented through the explication of the mental opposition «expected valid» in the paintings of the surrounding world «Journey to Arzrum during the campaign of 1829».

Keywords: *literary landscape, the mental space of the author; the picture of the surrounding world, romanticism, realism, the opposition «expected valid».*

References

1. Arsenyev K.K. Peyzazh v sovremennom russkom romane [Landscape in the contemporary Russian affair] // Kriticheskie etyudy po russkoy literature [Critical studies in Russian literature]. St. Petersburg, 1888. Vol. 2. Pp. 294–336.
2. Beleckiy A.I. Voprosy teorii i psihologii tvorchestva [Problems of theory and psychology of creativity]. Harkov., 1923. 282 p.
3. Vinogradov V.V. O hudozhestvennoy rechi Pushkina [About the artistic Pushkin's speech] // Russkiy yazyk v shkole [Russian language at school]. 1967. No 3. Pp. 25–30.
4. Grifcov B.A. Pushkinskiy peyzazh [Pushkin's landscape] // Psihologiya pisatelya [The Psychology of the writer]. Moscow, 1988. Pp. 213–233.
5. Gukovskiy G.A. Pushkin i problemy realisticheskogo stilya [Pushkin and problems of realistic style]. Moscow, Goslitizdat Publ. [The state literary publishing house], 1957. 327 p.
6. Lotman Ju.M. Aleksandr Sergeevich Pushkin. Leningrad, Prosveshhenie Publ., 1983. 255 p.

7. Meylah B.S. Tvorchestvo A.S. Pushkina. Razvitie hudozhestvennoy sistemy [The Work by A.S. Pushkin. The development of artistic systems]. Moscow, Prosveshhenie Publ., 1984. 160 p.
8. Shklovskiy V.B. Povesti o proze. V dvuh tomah [Novel about the prose. In 2 volumes]. Moscow, Hudozhestvennaya literatura Publ., 1983. Vol. 2. 636 p.
9. Jakobson R.O. Raboty po poetike [Works on poetics]. Moscow, 1987. 464 p.
10. Fauconnier G. Mental spaces. Cambridge, MIT Press, 1985. 190 p.